

Б. Н. ПУТИЛОВ

К вопросу о составе Рязанского песенного цикла

Вопрос о существовании в далеком прошлом целого цикла фольклорно-песенных произведений, связанных с нашествием Батыя на Рязанскую землю в 1237 г., не раз поднимался в литературе. Произведений этих в большинстве своем живая фольклорная традиция не сохранила, следы их приходится восстанавливать путем анализа древнерусских литературных памятников, в первую очередь — «Повести о разорении Рязани Батыем». Лишь одна из песен, вероятно входивших в предполагаемый цикл, дошла до нас в устной передаче. Это — «Авдотья Рязаночка». Исследование «Повести о разорении Рязани Батыем» с привлечением данных былинного эпоса и исторических песен позволило установить существование в XIII в. песни о Евпатии Коловрате и реконструировать ее сюжет.¹

Однако Рязанский песенный цикл, возможно, и не исчерпывался двумя названными произведениями. Во всяком случае, «Повесть о разорении Рязани Батыем» содержит некоторые данные для поисков и других сюжетов. Попытки в этом направлении предпринимались учеными. В частности, по крайней мере три эпизода «Повести» являлись предметом внимания исследователей: гибель князя Федора в татарском стане и самоубийство его жены Евпраксии; героическое сопротивление рязанцев татарам и всеобщая гибель защитников города; столкновение Батыя с князем Олегом. Отметим здесь, что в этих эпизодах, в отличие от песен об Авдотье Рязаночке и Евпатии Коловрате, на первом плане — рязанские князья и их подвиги. В этом смысле все три эпизода внутренне связаны между собою.

Рассмотрим более подробно каждый из эпизодов.

1. Вот как изложен в «Повести» первый эпизод. Великий князь Юрий Ингорович «посла сына своего князя Федора Юрьевича Резаньскаго к безбожному царю Батыю з дары и молении великими, чтобы не воевал Резанския земли. Князь Федор Юрьевич прииде на реку на Воронеже к царю Батыю, и принесе ему дары и моли царя, чтобы не воевал Резанския земли. Безбожный царь Батый, лжив бо и немилосерд, приа дары, охипися лестию не воевати Резанския земли. И яряся-хваляся воевати Русскую землю. И нача попросити у рязаньских князей тщери или сестры себе на ложе. И некий от велмож резанских завистию насочи безбожному царю Батыю на князя Федора Юрьевича Резаньскаго, яко имеет у себе княгиню от царьска рода, и лепотою-телом красна бе зело. Царь Батый лукав есть и немилостив в неверии своем, пореваем в похоти своея, и рече

¹ См.: Б. Н. Путилов. 1) Песня о Евпатии Коловрате. — ТОДРЛ, т. XI. М.—Л., 1955, стр. 118—139; 2) Песня об Авдотье Рязаночке. — ТОДРЛ, т. XIV. М.—Л., 1958, стр. 163—168.

князю Федору Юрьевичу: „Дай мне, княже, вести жены твоей красоту“. Благоверный князь Федор Юрьевич Рязанской и посмеяся, и рече царю: „Не полезно бо есть нам христианом тебе нечестивому царю водити жены своя на блуд. Аще нас приодолеши, то и женами нашими владеши начнеши“. Безбожный царь Батый возярился и огорчился, и повеле вскоре убити благовернаго князя Федора Юрьевича, а тело его повеле поврещи зверем и птицам на разтерзание; и инех князей, нарочитых людей воиньских побил.

И един от пестун князя Федора Юрьевича укрыся именем Апоница, зря на блаженое тело честнаго своего господина горько плачущися, и видя его никим бегома, и взя возлюбленаго своего государя, и тайно сохрани его. И ускори к благоверной княгине Еупраксее, и сказа ей, яко нечестивый царь Батый уби и благовернаго князя Федора Юрьевича. Благоверная княгиня Еупраксеа стоаше в превысоком храме своем и держа любезное чадо свое князя Ивана Федоровича, и услыша таковыа смертноносныя глаголы, и горести исполнены, и абие ринуся из превысокаго храма своего с сыном своим со князем Иваном на среду земли, и заразися до смерти. И услыша великий князь Юрьи Ингоревич убиение возлюбленаго сына своего блаженаго князя Федора, инех князей, нарочитых людей много побито от безбожнаго царя, и нача плакаться, и с великою княгинею, и со прочими княгинями, и з братею. И плакашеса весь град на мног час».²

Так читается эпизод в редакции основной А. Из разночтений, встречающихся в других редакциях, отметим лишь некоторые, представляющие интерес с точки зрения сюжетного развертывания эпизода. В редакции основной Б 1-го и 2-го вида Батый, приняв дары, «охабися воевати Рязанские земли» (стр. 309 и 329). Там же говорится о Батые, что он «начаша рязанских князей потехами тешити» (стр. 309 и 330). В редакции хронографической отсутствует эпизод с Апоницей, а в эпизоде с Евпраксией есть следующее любопытное дополнение: княгиня с сыном стоит «поглядящи ласкаваго и любимаго своего супруга благовернаго князя Феодора Юрьевича— когда придет от нечестиваго царя Батыя. И абие вместо радости услыша таковыа смертноносныя глаголы, яко сожителе ея благоверный князь Феодор Юрьевич любви ради ея, красоты убиен бысть», — и далее говорится о смерти княгини (стр. 352—353). В редакции «Сказания» пространного вида Евпраксия стоит «в превысоком своем тереме» (стр. 371).

Весь эпизод о Федоре и Евпраксии выделяется — даже на фоне других драматических описаний «Повести» — особым драматизмом и эмоциональностью. Но ни драматический характер сюжета, ни эмоциональная напряженность описаний еще не доказывают принадлежности к народной поэзии. Нужен более конкретный сравнительный материал. Между тем исследователи нередко шли от общего восприятия эпизода и, опираясь на эти общие впечатления, уже затем обращались к фактам. В. Ф. Миллер, изложив соответствующее место «Повести», делает вывод: «Едва ли может быть сомнение в том, что трогательный эпизод о смерти Феодора и Евпраксии в изложении книжника основан на народной песне».³

На какие же факты опирается далее Миллер, обосновывая свой взгляд на этот эпизод как на «яркий образчик исторических и эпических пе-

² Д. С. Лихачев. Повести о Николе Заразском. (Тексты). — ТОДРЛ, т. VII. М.—Л., 1949, стр. 288—289. — Все цитаты в дальнейшем даются по этому изданию.

³ Всеволод Миллер. Очерки русской народной словесности, [т. I.] Былины. I—XVI, М., 1897, стр. 316.

сен»?⁴ Он обнаруживает прежде всего «черты народного стиля... в отдельных образах и выражениях: детальное перечисление дани конями, высокий терем Евпраксии, белые руки, любезное чадо».⁵ Если даже согласиться с В. Миллером, что примеры, приводимые им, относятся к «чертам народного стиля», то следует отметить, что черты эти отнюдь не определяют стилистического характера всего эпизода. Они явно теряются среди таких эпитетов, как «безбожный царь», «нечестивый царь», «благочестивый князь», «блаженное тело», «благочестивая княгиня», «смертоносные глаголы» и т. д. Отметим, что «белые руки» отсутствуют в большинстве редакций. Нет в большинстве редакций также и перечисления дани конями.

Со стороны собственно стилистической рассматриваемый эпизод не содержит явных народно-песенных признаков.

Очевидно, что внимание должно быть обращено на его сюжетную сторону. Вопрос может быть поставлен двояким образом: является ли данный сюжет фольклорным по самой своей природе, т. е. представляет ли эпизод книжную переделку народной песни? или в нем, литературном по природе, имеются несомненные фольклорные реминисценции?

В другой своей работе В. Ф. Миллер касается как раз этих вопросов. Ученый не сомневается в том, что случай, о котором рассказано в «Повести», имел место в истории. О Федоре и Евпраксии слагались песни, но они не сохранились в народной памяти.⁶ Вслед за этим В. Ф. Миллер вступает на путь догадок, типичных для представителя «исторической школы». В основе этих догадок лежит представление о том, что исторические песни с течением времени разрушались, подвергались эпической переработке; исторические имена забывались, заменялись другими, становились эпическими, а самое событие окрашивалось сказочными чертами и, «отрешившись от прежних имен, могло быть прикреплено к другим фабулам».⁷ Так, по мнению В. Ф. Миллера, имя Евпраксии, впервые появившись в песне, связанной с разорением Рязани, затем вошло в былины, где оно прикрепилось к киевской княгине, жене Владимира. Некоторые же сюжетные ситуации песни преобразились в былине о Даниле Ловчанине. Предположение о связи этой былины с существовавшей в XIII в. песней о Федоре и Евпраксии было высказано еще раньше М. Е. Халанским.⁸ Точка зрения В. Ф. Миллера и М. Е. Халанского была принята без каких-либо оговорок В. П. Адриановой-Перетц⁹ и Н. К. Гудзием.¹⁰ Однако сходство былины о Даниле Ловчанине с эпизодом «Повести» представляется весьма сомнительным, не говоря уже о том, что оно не может быть распространено на сюжеты в целом, вследствие чего невозможно себе представить, как мог совершиться переход песни в былинку. В былинке один из приближенных князя Владимира сообщает ему, что у Даниила красивая жена и что она представляет как раз тот идеал женщины, о ка-

⁴ Там же, стр. 320; т. II, М., 1910, стр. 360.

⁵ Там же, [т. I], стр. 316.

⁶ Всеволод Миллер. Эскурсы в область русского народного эпоса. I—VIII. М., 1892, стр. 26.

⁷ Там же.

⁸ М. Е. Халанский. Великорусские былины киевского цикла. Варшава, 1886 (далее: М. Е. Халанский), стр. 82—83. — Предположение В. Ф. Миллера и М. Е. Халанского было подвергнуто критике Б. Соколовым в статье «Исторический элемент в былинах о Даниле Ловчанине» (Русский филологический вестник. Варшава, 1910, №№ 3—4, стр. 201).

⁹ В. П. Адрианова-Перетц. Историческая литература XI—начала XV в. и народная поэзия. — ТОДРА, т. VIII. М.—Л., 1951, стр. 121.

¹⁰ Н. К. Гудзий. История древней русской литературы, изд. 5-е. Учпедгиз, М., 1953, стр. 181.

ком думает князь. По совету приближенных Владимир, чтобы освободиться от Данилы, посылает его на опасное задание.

Ситуация, как видим, очень далекая от той, которая дана в «Повести». Сопоставление Владимира с Батыем и Данилы с Федором возможно лишь при очень больших натяжках. Единственное, что действительно сближает обе ситуации, — это роль оговорщика. Но нет оснований видеть здесь результат прямого заимствования и последующей переработки. Оговорщики, злые советчики — обычные персонажи русского эпоса, знакомые не только былинам о Даниле Ловчанине. Образ оговорщика в «Повести» может быть истолкован как фольклорный. Сама же ситуация имеет некоторое соответствие в русском песенном фольклоре. В былинах женщина (жена царя, князя) является нередко предметом стремлений вражеского (или просто чужеземного) царя. Ее похищают силой, увозят хитростью, берут с помощью угроз. При этом ее всегда берут как жену — мотив этот уходит в далекую эпическую и историческую традицию, о которой здесь можно не говорить. В былинах о татарском нашествии, о захвате Киева Идолищем иногда содержится одна из угроз — взять княгиню.

В «Повести» эпический мотив похищения или завоевания женщины и насильственной выдачи ее замуж за царя-победителя (за чудовище и т. д.) получил иной характер: Батый намерен надругаться над рязанскими женщинами, в том числе и над Евпраксией.

Что касается всей истории с Федором, встающим на защиту достоинства своего и своей жены, то в известном нам русском фольклорном материале аналогии отсутствуют. Муж может выступать как спаситель жены, похищенной врагами. Заметим, что самое поведение Федора ничем не напоминает поведения былинного Данилы.

В той части эпизода, которая касается Федора, есть одна подробность, заставляющая вспомнить эпос, хотя она, быть может, в данном случае отражает конкретный ход событий. В былинах о татарском нашествии обычна просьба русских дать им некоторый срок для исполнения ультиматума. С этой целью (а иногда и с целью разведать силы врага) в татарский стан едет Илья Муромец, который везет подарки. В некоторых вариантах Калин-царь ведет себя примерно так же, как Батый в «Повести»: он проявляет гордость и старается унижить послов. «И тут Калин принял золоту казну нечестно у нево, сам прибранивает».¹¹ Возможно, что не от истории, а от литературной (может быть, и фольклорной) традиции идет повествование о том, как Батый, приняв дары и пообещав не воевать Рязанскую землю, стал угрожать захватом всей Русской земли.

Вторая часть эпизода, в которой выступает Евпраксия, чрезвычайно необычна для книжной традиции. Изображение самоубийства и его поэтизация явно не в духе древней русской литературы. Герои ее способны принять мученическую смерть за «веру христианскую», за «русскую землю», готовы претерпеть любые страдания. Но с точки зрения христианской морали самоубийство — акт недопустимый. Самоубийство знакомо русскому эпосу, но былины с этим мотивом, вероятно, сравнительно поздние. В былинах герои кончают с собой не от горя или отчаяния, а от сознания невозможности примириться со злом, жертвами которого они стали. Поэтому аналогия, которую проводит Миллер между Евпраксией и Василисой, недостаточно убедительна. Василиса кончает с собой не только потому, что не может пережить смерти мужа, но и потому, что не хочет

¹¹ Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. Издание подготовили А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958 (далее: Сборник Кириш Данилова), стр. 170.

стать женой Владимира. Ее гибель есть не только акт отчаяния, но и форма протеста. Василиса — образ эпический, героический. Она в былине активно действует, она до конца борется, отстаивая свое счастье и свою честь. В «Повести» нет никаких следов, которые бы указывали на то, что Евпраксия гибнет, боясь стать женой или наложницей Батыя. Образ Евпраксии лишен каких бы то ни было эпических черт, но он сродни женским образам, какие встречаются в лирических песнях. Здесь жены ждут своих мужей из похода, узнают об их гибели, оплакивают их, обернувшись птицами, летят к месту их смерти, выражают свою любовь к ним, а в очень редких, правда, случаях — умирают, будучи не в силах перенести их смерти. В одной песне королева, узнав о гибели милого, плачет:

Мой милый не послушался,
Нагонила тоску смертельную...
Я со той тоски во гроб пойду,
И в знак верности я с ним умру.¹²

Естественно сближать эпизод о Евпраксии не с эпосом, а с песнями военно-бытового содержания. В записи XVIII в. известна историческая песня, которая приурочивается по имени героя ко второй половине XVI в., но в которой есть реалии и мотивы, интересные для нашей темы. Это песня о гибели Михаила Черкашенина.¹³ Приводим ее, опуская строки, в которых названо имя героя.

⟨За⟩ Зарайским городом,
За Резанью за старою,
Из далеча чиста поля,
Из раздолья широкова,
Как бы гнедова тура
Привезли убитова,
Привезли убитова
Атамана польскова
... А птицы ластицы
Круг гнезда убиваются,
Еще плачут малы ево дети
Над белым телом.
С високова терема
Зазрела молодая жена,
А плачет, убивается
Над ево белым телом,
Скрозь слезы свои
Она едва слово промолвила,
Жалобно причитаючи
Ко ево белу телу:
«Казачья вольная
Поздорову приехали,
Тебе, света моего,
Привезли убитова,
Атамана польскова».

Известно, что Михаил Черкашенин погиб при обороне Пскова от Стефана Батория в 1581 г. Следовательно, Зарайск и Рязань Старая упоминаются здесь по традиции, они перешли сюда из какой-то другой, старшей песни. Такие мотивы, как привоз убитого из степи, плач жены, увидевшей тело мужа с высокого терема, гораздо ближе к эпизоду «Повести», чем былина о Даниле, поскольку эти мотивы связаны с кругом тех же жизненных обстоятельств, что и история о Федоре и Евпраксии. Было

¹² Русская баллада. Предисловие, редакция и примечания В. И. Чернышева. Вступительная статья Н. П. Андреева. «Советский писатель», [Л.], 1936, № 57.

¹³ Сборник Кирши Данилова, стр. 252—253.

бы, конечно, неосторожным возводить песню о Михаиле Черкашенине непосредственно к предполагаемой песне XIII в. Но текст из «Сборника Кириши Данилова» указывает на одну из тех возможных сюжетных форм, в какую могла бы вылиться в народной поэзии история о драматической судьбе Евпраксии. Причем форма эта вовсе не исключает такого трагического финала, какой дан в «Повести».

М. Е. Халанский приводит некоторые параллели из эпоса других народов. Однако параллели эти, на наш взгляд, малоубедительны. В сербской песне «Царь Лазарь и царица Милица» Милица ждет вестей от своего мужа, отправившегося в поход. Царский слуга Милутин привозит известие о гибели Лазаря, и Милица выражает свою скорбь. В армянском сказании о Давиде Сасунском жена его, Хандут-Ханум, узнав о смерти Давида, поднимается на вершину башни и бросается оттуда вниз. С камнем, о который разбилась Хандум-Ханум, связаны с тех пор воспоминания и даже некоторые обрядовые действия.¹⁴

Для решения вопроса о происхождении рассматриваемого эпизода и об отношении его к фольклору важное значение имеет то обстоятельство, что эпизод этот, хотя и кажется вставкой, перебивающей рассказ о нашествии Батыея, сюжетно связан с циклом повестей о Николе Зараском, частью которого является «Повесть о разорении Рязани». История жизни князя Федора составляет одну из важных тем цикла. В первой повести, которая открывает цикл и в которой рассказывается о перенесении Евстафием чудотворного образа Николы из города Корсуни в Рязанскую землю, Федор назван как князь, «во область» которого «принесен бысть чудотворный образ». Когда Евстафий достигает Рязанской земли, Никола во сне «явился благоверному князю Федору Юрьевичу Рязанскому и поведает ему приход чудотворного своего образа корсуньскаго» и велел ему идти навстречу образу, обещая, что будет молить Христа: «да подарует ти венець царствия небеснаго, и жене твоей, и сынови твоему». Федор исполнил повеление Николы. Через некоторое время он женился, «и поят супругу от царьска рода именем Еупраксею. И помале и сына роди именем Иоана Посника». Далее эта первая повесть кратко сообщает о гибели Федора, его жены и сына при нашествии Батыея на Рязань, а затем — о похоронах их останков. «И от сея вины да зовется великий чудотворец Николае Зараский, яко благовернаа княгиня Еупраксеа с сыном князем Иваном сама себя зарази» (стр. 282—287).

Перед нами — эпизоды типичной средневековой легенды о перенесении образа святого, о чудесах, сопровождающих путешествие иконы, об избранных хранителях ее, принявших мученическую смерть, о происхождении названия города. Князь Федор — один из героев этой легенды, которая складывалась, вероятно, в Зараске.

Характерно, что в первой повести, где преобладают религиозно-благочестивые мотивы, обстоятельства смерти Федора не излагаются, зато о смерти Евпраксии говорится почти столь же подробно, как и в повести о разорении Рязани, что связано, конечно, с необходимостью объяснить происхождение названия Зараска.

То обстоятельство, что история гибели Федора и его жены оказалась включенной в легенду, проливает некоторый свет на ее художественную природу. Можно думать, что в данном случае мы имеем дело с местным народным преданием. Именно предание, связанное с определенными историческими лицами, приуроченное к конкретным событиям, получившее четкую локализацию, легче всего могло быть использовано в легенде.

¹⁴ М. Е. Халанский, стр. 81—84.

Следы принадлежности эпизода к преданию проявляются в бытовых подробностях, в конкретных деталях, в установке на историческую и бытовую достоверность, которая сочетается с некоторыми элементами вымысла.

Однако, нельзя отрицать возможности существования и песен на ту же тему. Именно песен, а не одной песни, как это обычно утверждали. Дело в том, что если подходить к эпизоду о Федоре и Евпраксии со стороны фольклорных реминисценций в нем, то обнаруживается, что реминисценции эти не едины в сюжетно-стилевом отношении. Рядом с образами и деталями эпического плана ощущаются следы образов и мотивов народной лирики. Трудно представить себе возможность объединения — в народной поэзии — в один сюжет обеих частей эпизода, хотя в «Повести», как произведении иной по сравнению с фольклором художественной системы, они составляют единое целое.

Если предполагать, следовательно, существование песен, то надо думать, что история о Федоре входила скорее всего как часть в какое-то эпическое произведение о нашествии Батыя на Рязань (может быть, это была историческая песня), история же о Евпраксии могла быть оформлена в песенном сюжете, следы которого смутно проглядывают в поздней исторической песне о гибели Михаила Черкашенина.

2. Другое место в «Повести», которое исследователи также связывают с фольклором, — это рассказ о гибели рязанских князей-братьев и о битве рязанцев с татарами. По наблюдениям Д. С. Лихачева, «Повесть» собрала князей Рязанской земли, как живых, так и умерших, к 1237 г. «Родственные отношения всех этих князей эпически сближены, все они сделаны братьями. В последовавшей затем битве все эти князья гибнут, хотя об Олеге Красном (на самом деле не брате, а племяннике Юрия) известно, что он пробыл в плену у Батыя до 1252 г. и умер в 1258 г. Это соединение всех рязанских князей — живых и мертвых — в единое братское войско, затем гибнущее в битве с татарами, вызывает на память эпические предания о гибели богатырей на Калке, записанные в поздних летописях XV—XVI вв. Там также были соединены «храбри» разных времен и разных князей (Добрыня — современник Владимира I и Александр Попович — современник Липецкой битвы 1212 г.). И здесь и там перед нами, следовательно, результат общего им обоим эпического осмысления Батыева погрома как общей круговой чаши смерти для всех русских „храбров“». ¹⁵

Сходство рассказов несомненно. Но в летописной «Повести о битве на реке Калке» рассказ предельно скуп, и от предания в нем, быть может, только упоминание о гибели богатырей. Кстати сказать, вряд ли предание воспринимало богатырей как героев «разных времен»: ведь в эпосе все они принадлежали к одному «эпическому» времени Владимира Святославича. У нас нет оснований для сопоставления побитых при обороне Рязани князей с погибшими на Калке богатырями. Если в рассказе о гибели рязанских князей и есть эпические элементы, то идут они не от эпоса (ибо эпоса, посвященного князьям, мы не знаем) и не от исторических песен (в рассказе нет следов песенного сюжета), а от каких-то воспоминаний, которые получили законченную книжную обработку в соответствии с идейным замыслом автора — прославить рязанских князей как представителей родины. ¹⁶

¹⁵ Д. С. Лихачев. Повесть о разорении Рязани Батыем. — Воинские повести древней Руси. Под ред. чл.-корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. Изд. АН СССР, М.—Л., 1949 (серия «Литературные памятники»), стр. 129.

¹⁶ Там же, стр. 133—139.

Другое дело — рассказ о том, как сражались «удальцы и резвцы» рязанские. Некоторые из характеристик в этом рассказе прямо воспринимаются как взятые из песни о Евпатии Коловрате: «И нападоша нань, и начаша битися крепко и мужественно, и бысть сеча зла и ужасна. Мнози бо силнии полки падоша Батыеви. Царь Батый, и видяше, что господство рязанское крепко и мужественно бьяшеса, и возбояся... един бьяшеса с тысящей, а два со тмою... Преседоша с коня на кони, и начаша битися прилежно. Многиа сильныя полкы Батыевы проеждя, храбро и мужественно бьяшеса, яко всем полком татарьским подивитися крепости и мужеству резанскому господству. И едва одолеша их сильныя полкы татарския» (стр. 290).

Здесь есть прямые текстуальные совпадения с эпизодом о битве Евпатия Коловрата, не говоря уже об общности стиля. Очевидно, что общность эта не случайна. Песня о Евпатии Коловрате в первой своей части содержала эпизоды столкновения рязанцев с татарами и гибели защитников города. Можно было бы предположить, что автор «Повести» использовал песню дважды, и в первый раз — при изображении подвигов «удальцов и резвцов» рязанских. Настойчивый интерес к поведению и судьбе князей, если и отраженной в песне, то в самой общей форме, заставлял автора дополнять песенные описания картинами, воссоздававшимися на основе каких-то воспоминаний и традиционных приемов книжного повествования. Очевидно, воспоминания эти носили самый общий характер, и лишь в одном пункте они получили форму законченного сюжета: имеем в виду эпизод с князем Олегом Ингоревичем.

З. Д. С. Лихачев характеризует этот эпизод как вставку.¹⁷ Действительно, на фоне краткого перечисления князей, испивших «едину чашу смертную», описание гибели Олега, отличающееся не только распространенностью, но и наличием законченного сюжета, выглядит вставкой. Есть основание думать, однако, что автор не ограничился бы ею одной, если бы мог развернуть целую серию таких эпизодов. Очевидно, он знал лишь историю о «мученической кончине Олега Красного» и включил ее в рассказ, нарушив тем самым его своеобразное течение — быстрое, сжатое, лишенное конкретных деталей.

Что же представляет собою эпизод с Олегом? Какова его художественная природа?

Отметим прежде всего, что рассказ не соответствует действительности. Олег Красный не был убит, но попал в плен к Батью и пробыл там до 1252 г. Он умер в 1258 г.¹⁸ Таким образом, перед нами вымышленный рассказ, в котором героизации подвергается один из рязанских князей. В различных редакциях «Повести» эпизод с Олегом излагается с незначительными расхождениями. Приводим его по тексту редакции основной Б 1-го вида: «И Олга Ингоревича яша еле жива. Царь Баты, веде Олга велми красна и храбра, и хотя его изврачевати от великих ран и на свою прелесть возвратити. Князь Олег Игоревич укори царя и нарече его безбожна и врага крестьянска. Окаянный же Батый дохну огнем от мерскаго сердца своего и повеле Олга ножи на части разлабити. Сий бо есть мученик Христов, приа венец своего изповедания и мучения со сродником своим блаженным князем Феодором Юрьевичем и прияша венца нетленная от всемилостиваго бога» (стр. 312—313). В редакции основной А об

¹⁷ Там же, стр. 131.

¹⁸ Там же, стр. 29. — Ср., например, в Ермолинской летописи под 1252 г.: «Того же лета татарове пустиша князя Олга Ингваревича Рязанского на свою землю» (ПСРЛ, т. XXIII, СПб., 1910, стр. 84).

Олеге говорится как об изнемогающем от великих ран, а вместо «разлабити» употреблен глагол «раздробити» (стр. 291). В редакции основной Б 2-го вида состояние Батыя характеризуется еще дополнительно словом — «и огорчися». В редакции Стрелецкой это место излагается так: «А князя Олга Ингоревича изранена жива приведоша к царю. И виде его царь красна суца, и возрастом велика, и храбра, хотя его от великих ран изврачевати и во свою скверную веру превратити. И князь Ог Ингоревич не пожела славы сея временныя, но небесныя славы возжеле, укори царя нечестиваго и нарек безбожна и врага христианскаго. Окаянный же Батый, рыкнув и дохнув от мерскаго сердца своего и огорчися, яко лев, вскоре повеле Ольга блаженнаго ножи раздробити, якоже древле великаго мученика Иякова Перскаго Хоздрой царь. Сей убо есть мученик Христов, прият венец своего исповедания мучением с сродником своим блаженным князем Феодором Юрьевичем» (стр. 364).

В рассказе отчетливо совмещаются героическая характеристика Олега с религиозно-благочестивым осмыслением его гибели. Он «велми красен» и «храбр», «возрастом велик». Но отвечает он Батыю не столько как воин, сколько как христианин («и нарече его безбожна и врага крестьянска»), а главное — погибает он как «великий мученик»; он уподобляется «страстоположнику Стефану», он принимает «венецъ своего страдания от всемилостиваго бога». Можно заметить, что мотивы религиозно-мученические в рассказе явно преобладают, причем в некоторых редакциях обнаруживается тенденция к их усилению. Характерен в этом плане текст редакции основной Б 2-го вида, где Олег прямо изображается как князь, обрекающий себя на гибель ради «небесныя славы».

Однако было неосторожно на основании сказанного считать эпизод об Олеге религиозной легендой о мученике. Можно думать, что легендарная направленность придана ему автором «Повести». Сквозь легендарные наслоения ясно видна народно-героическая основа. Главное содержание эпизода, если освободить его от этих наслоений, сводится к следующему: раненого князя татары берут в плен, приводят к Батыю. Батый, на которого произвели впечатление красота и сила Олега, предлагает ему перейти к нему на службу, обещая вылечить его от ран. Олег решительно отказывается, резко отзывается о Батые, и тогда разгневанный царь приказывает казнить его.

Образ героя, не желающего перейти на службу врагу и гордо отклоняющего предложение чужеземного царя, знают уже былины о татарском нашествии. Илью Муромца, попавшего в подковы, татары приводят к Калину-царю. Калин-царь говорит богатырю:

— Ай же, старья казак да Илья Муромец!
 Да садись-ко ты со мной а за единый стол,
 Ешь-ко ествушку мою сахарную,
 Да и пей-ко мои питьеца медвяныи,
 И одежь-ко ты мою одежу драгоценную,
 И держи-тко мою золоту казну,
 Золоту казну держи по надобью,
 Не служи-тко ты князю Владимиру,
 Да служи-тко ты собаке царю Калину.

Илья Муромец отвечает:

— А й не сяду я с тобой да за единый стол,
 Не буду есть твоих ествушек сахарных,
 Не буду пить твоих питьецев медвяных,
 Не буду носить твоей одежи драгоценных,
 Не буду держать твоей бесцетной золотой казны,
 Не буду служить тебе, собаке царю Калину,

Еще буду служить я за веру, за отечество,
 А й буду стоять за стольный Киев-град,
 А буду стоять за церкви за господнии,
 А буду стоять за князя за Владимира
 И со той Опраксой-королевичной.

После этих слов Илья Муромец уходит в поле и начинает биться с татарами.¹⁹

Сходство и различие былины и «Повести» очевидны. В былине действие, как обычно, прикреплено к эпическому Киеву. Илью Муромца не ранят и не убивают — он сам побеждает врага. И предложение царя, и отказ богатыря разработаны с присущей былинам обстоятельностью, в духе народно-эпических представлений о героизме. Есть былинные тексты, в которых аналогичный мотив разрабатывается в формах, еще более близких к «Повести». Курган-царь велит своим приближенным расправиться с Суругой, отказавшимся перейти к нему на службу:

Вы го-гой еси, татары уланы!
 Вы возьмите Суругу за белы руки,
 Поведите вы собаку во куземку,
 Вы набейте обручки железные,
 Вывозите его во чистое поле,
 Вы изрежьте его в части мелкие,
 Раскидайте его по чисту полю».²⁰

Возводить эпизод «Повести» непосредственно к былине у нас нет достаточных оснований. Но можно предположить, что между былиной и «Повестью» стоял неизвестный нам песенный сюжет. Пример с песней о Евпатии Коловрате показывает, как могли возникать старшие исторические песни. У них могло быть по крайней мере три источника: историческое событие, дававшее основной материал для творчества; художественный вымысел, который служил задачам осмысления события; образы и мотивы эпоса, подвергавшиеся творческой переработке.

Былинный мотив о богатыре, отказывающемся перейти на службу к вражескому царю, получил новое качество в формах исторической песни. Он был применен к реальному историческому лицу и к исторически конкретному событию; он был освобожден от эпической обработки; были введены новые мотивы, усиливавшие драматизм и достоверность ситуации (пленение раненого героя, казнь его после отказа). Трудно сказать, ограничивалось ли все содержание песни рамками эпизода, известного по «Повести», или оно было шире. Последнее более вероятно.

Что наши предположения о существовании исторической песни, героем которой был Олег (или какой-то другой князь), не беспочвенны, доказывают материалы фольклора позднего времени. Чрезвычайно близка к предполагаемой песне по сюжету песня о гибели князя Семена Романовича Пожарского (первая половина XVII в.). Начало этой песни, может быть, позволяет представить контуры песни XIII в. в той ее части, которая не отражена в «Повести». Здесь действие начинается с картины вражеского наступления. Враги вызывают поединщика. Вызов принимает князь Пожарский. Он побеждает в поединке, но татарам удается захватить его в плен. Пожарского привозят к хану, который предлагает ему:

¹⁹ Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Изд. 4-е т. II. Изд. АН СССР, М.—Л., 1950, стр. 31.

²⁰ Русские былины старой и новой записи. Под ред. Н. С. Тихонравова и В. Ф. Миллера. М., 1894, стр. 239.

— А и гой еси, Пожарской князь,
 Князь Семен Романович!
 Послужи мне верою,
 Да ты верою-правдою,
 Заочью не изменюю,
 Еще как ты царю служил,
 Да царю своему белому, —
 А и так-то ты мне служи,
 Самому хану крымскому.
 Я ведь буду тебе жаловать
 Златом и серебром,
 Да и женки прелестными,
 И душами красными девицами.

Князь Пожарский отвечает:

— А и гой еси, крымской хан,
 Деревенской шишиморы!
 Я бы рад тебе служить,
 Самому хану крымскому.
 Кабы не скованы мои резвы ноги,
 Да не связаны белы руки
 Во чембуры шелковые,
 Кабы мне сабелька вострая, —
 Послужил бы тебе верою
 На твоей буйной голове,
 Я срубил тебе буйну голову.

Как и в эпизоде «Повести», реакция хана немедленна и беспощадна:

— А и вы, татары поганяя!
 Увезите Пожарскова на горы высокия
 Срубите ему голову,
 Изрубите ево бело тело
 Во части во мелкие,
 Разбросайте Пожарскова
 По далече чисту полю.²¹

Здесь приказ хана дан в более пространной форме, но по существу он совпадает с приказом Батыея.

Ответ князя Пожарского заключает явную иронию. Иронической интерпретации службы в эпизоде «Повести» нет, но в песне она могла быть: вспомним, что ирония присутствует в песне о Евпатии Коловрате.

Аналогичный ответ богатыря вражескому царю знают и былины. Михайло Данилович так отвечает Кудреванке, который просит его послужить татарам:

— Да была у меня да сабля вострая,
 Да была у мня палоська та боёвая, —
 Послужил бы топере да по твоей шеи,
 Верой-правдой послужил бы, неизменою.²²

Песня о Пожарском показывает, что героизация образа князя не чужда народной поэзии.

Основанием для героизации Пожарского послужила его действительная гибель в татарском плену. Олег был взят в плен и остался жив, но создатели песни могли и не знать о действительной судьбе князя. Единственный из князей — участников защиты Рязани, не погибший на поле боя, он стал героем, в образе которого воплотились представления о стойкости, верности родной земле.

²¹ Сборник Кирши Данилова, стр. 199—200.

²² А. Д. Григорьев. Архангельские былины и исторические песни (далее: А. Д. Григорьев), т. II. Прага, 1939, стр. 162.

Таким образом, считаем вполне вероятным, что наряду с песней о Евпатии Коловрате и преданием о Федоре и Евпраксии (а может быть, и песнями о них) в Рязанской земле была сложена песня об Олеге Красном, довершавшая цикл произведений о героическом сопротивлении рязанцев и об их гибели в борьбе с превосходящими силами врага.²³

Вместе с песнями о Евпатии Коловрате и об Авдотье Рязаночке они составляли Рязанский историко-песенный цикл, содержанием которого было героическое сопротивление рязанцев татарскому нашествию.

Изучение этого цикла подводит нас к выводу, что татарское нашествие явилось важнейшим рубежом в развитии русского историко-песенного фольклора. Величайшее потрясение, каким было для Руси нашествие татар, не только не заглушило развития героической народной поэзии, но, напротив, вызвало ее подъем, рождение новых художественных форм, образов, сюжетов. Это можно объяснить лишь тем, что богатство народной поэзии, периоды ее больших достижений тесно связаны с активизацией исторической деятельности народных масс, как говорил Н. Г. Чернышевский, с «энергиею народной жизни». «Только там являлась богатая народная поэзия, где масса народа волновалась сильными и благородными чувствами, где совершались силою народа великие события».²⁴

Рязань, первой принявшая удары полчищ Батыя, получила в народной поэзии черты эпического города. Воспоминания о Рязани как эпическом городе сохранились в былинах и в некоторых поздних исторических песнях. Она стоит рядом с другими эпическими городами и землями, подвигшимися, согласно представлениям былин, вражескому нашествию. Идолище говорит о себе:

— Я проехал Швецию, Турецию,
Казань, Рязань и Астрахань,
И не мог найти поединщика,
По плечу себе супротивника.²⁵

Рязань называется в числе городов, из которых Иван Грозный выводит измену.²⁶ Астраханский губернатор допрашивает сына Рязина: «С Казани ль ты, с Рязани ль, али с Астрахани?»²⁷

Есть былинные сюжеты, в которых Рязань не просто упоминается, но и служит местом действия. Сюжеты эти связаны, как правило, с Добрыней Никитичем. В ряде былинных текстов Рязань названа городом, в котором прожил свою жизнь отец Добрыни и в котором проходит детство и начинаются подвиги самого богатыря.

²³ Под тем же 1237 г. Ермолинская летопись сообщает о сходном эпизоде, героем которого являлся другой русский князь: «А Василька Костянтиновича Ростовьскаго руками яша и того ведоша с собою до Шериньскаго леса, нудящи его во свои воли быти, воевати с ними; он же не повинуся им, ни вкуси ничтоже, яже суть в руках их, во много хула изрече царя их и на всех их. Они же много мучивше его, и смерти предаше марта 4, в четверток 4 недели поста, и повергоша его на селе» (ПСРЛ, т. XXIII, стр. 75). То же под 1238 г. в Тверской летописи (ПСРЛ, т. XV. СПб., 1863, стлб. 370). Вслед за этим дается характеристика Василька, сходная с той, какую получил Олег. Таким образом, независимо от вопроса о фольклорно-песенных истоках данного сюжета, следует признать, что изображение подвига князя, не согласившегося даже под угрозой смерти перейти на службу к татарам, получило в летописях XIII в. характер эпического «общего места».

²⁴ Н. Г. Чернышевский. Рецензия на «Песни разных народов» Н. Берга. — Полное собрание сочинений, т. II. М., 1949, стр. 295.

²⁵ Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, изд. 2-е. Под ред. А. Е. Грузинского, т. II. М., 1910, стр. 192.

²⁶ Там же, стр. 264.

²⁷ Там же, т. I, М., 1909, стр. 345; см. также: А. Д. Григорьев, т. I. М., 1904, стр. 214 и др.

А во той де во Рязани до во Великою
Уж жил-то был да все торговой гось,
Уж на имя Микитушка Романович.²⁸

Этим строкам обычно предшествует следующая характеристика Рязани:

Доселева Рязань она селом слыла,
А ныне Рязань словет городом.²⁹

Ишше прежде Рязань до слободой слыла,
Ишше нонче Рязань до словёт славным городом³⁰

Такое начало встречается в вариантах следующих сюжетов: «Бой Добрыни с Ильей Муромцем» (в различных контаминациях): «Добрыня и Змей»; «Добрыня и неудавшаяся женитьба Алеши»; «Бой Добрыни с Дунаем»; «Никита Романович, рождение и детство Добрыни». Иногда эти мотивы переносятся в варианты «Василия Буслаева».

Смысл зачина, говорящего о Рязани, ставшей славным городом, из текстов не вполне ясен. В одном тексте говорится:

А прославилась Рязань да добрым молодцом,
Кабы тем же Микитушкой Романович.³¹

В тексте, где зачин применен к сюжету о Василии Буслаеве, мы читаем:

Почему это Рязань прославилась?
Потому Рязань это прославилась,
Что хорошо она да испост<р>оилась.
Кто был в городе строителем,
Кто был управителем?
Управителем был Василий сын Буслаевич,
Построил Рязань да славным городом.³²

Если предположить, что имя Василия Буслаева здесь внесено поздними певцами, а все остальное принадлежит старой былинной традиции, то можно думать, что величие Рязани в былинах связывается с деятельностью если не самого богатыря (Добрыни?), то его рода, прежде всего отца. Но это лишь эпическое выражение действительного и исторического факта возвышения Рязани, превращения ее в крупный город. Имеют ли в виду былины первоначальное возвышение Рязани в домонгольскую пору (т. е. Старую Рязань) или ее некоторое возрождение после разгрома 1237 г. — не ясно. Больше данных за первое предположение.³³ В былинах иногда имеются некоторые попытки изобразить Рязань. Говорится о ее «башнях наугольных». Рязань предстает как город великий, славный, город богатый и красивый. Илья Муромец видит Рязань с вершины холма:

Хорошо-де Рязянюшка да изукрашена,
Красным золотом Рязянюшка да испосажона,
Скатным жемцюзгом она бы да всё истрашена.³⁴

²⁸ А. Д. Григорьев, т. II, стр. 138; см. также стр. 184, 254, 289 и др.

²⁹ Сборник Кирши Данилова, стр. 235.

³⁰ А. Д. Григорьев, т. III, СПб., 1910, стр. 568.

³¹ Н. Ончуков. Печорские былины, СПб., 1904, стр. 258.

³² Там же, стр. 204.

³³ См. об этом: М. О. Скрипиль. Народное поэтическое творчество XIII—XV вв. — Русское народное поэтическое творчество, т. I. Очерки по истории русского народного поэтического творчества X—начала XVIII в. Изд. АН СССР, М.—Л., 1953, стр. 284—285.

³⁴ А. Д. Григорьев, т. II, стр. 140.

А в том же Рязани да славном городе
 В том же народу да много множество:
 А конны-ти едут темным лесом,
 Пешеходом идут народ станицами,
 Черным кораблём бежат дак по синю морю.³⁵

В этих описаниях не ощущаются реальные наблюдения, но в них заметно стремление изобразить Рязань в ярких и богатых красках.

Интересный случай применения традиционной формулы о Рязани есть в варианте былины «Илья Муромец и сын». Добрыня вынужден отказаться от поединка с Сокольниковом и возвращается униженный к Илье Муромцу. Илья говорит:

А ише прежде Рязань да слободой слыла,
 А ише новьде Рязань да словёт городом;
 А ише некем мне-ка, старику, заменитися,
 А некем мне-ка, старику, распорядитися.

Другими словами: Добрыня, представитель Рязани-города и воплощение ее славы, оказался неспособным заменить Илью в поле. Здесь слова о Рязани, ставшей городом, звучат явно иронически.

Что связь Добрыни с Рязанью не является простым домыслом поздних певцов, следствием каких-то искажений и переделок, свидетельствуют некоторые летописные данные.

Летописи сохранили воспоминания о Добрыне Рязаниче Золотом Поясе. О нем говорится как о «храбре» князя Константина Всеволодовича, участвовавшем вместе с Александром Поповичем в сражении ростовского князя с Юрием Всеволодовичем.³⁶ Имя его называется также рядом с именем Александра Поповича, среди «храбров», погибших в Калкской битве: «Убиша же на том бою: и Александра Поповичя, и слугу его Торопа, и Добрыню Рязанича Златаго Пояса, и семьдесят великих и храбрых богатырей».³⁷

Если сопоставить эти летописные свидетельства с приведенными выше былинными мотивами, то следует предположить, что связь Добрыни с Рязанью в эпосе определенной эпохи была достаточно прочной. Эти факты неоднократно и по-разному истолковывались исследователями.

Вопрос о Добрыне Рязаниче осложняется тем, что в ряде летописей вместо Добрыни в тех же ситуациях называется Тимоня Золотой Пояс.

Ф. И. Буслаев усматривал в летописных свидетельствах проявление того же процесса, согласно которому «эпос переводит богатырей Владимирских в период татарский». Буслаев не склонен был думать, что существовал в XIII в. какой-то исторический Добрыня. Добрыня Рязанич, с его точки зрения, это традиционный былинный герой, прототипом которого был, вероятно, дядя Владимира, брат Малуши, но получивший местное приурочение. Факт этот для Буслаева не единичен и не исключителен, в нем он видит нечто характерное: «Рязань вместе с Муромом дают местные, эпические краски известной муромской легенде о князе Петре и супруге его Февронии... Если Муромская область соединила свои поэтические предания с крестьянским идеалом Ильи Муромца, то соседняя с нею область Рязанская усвоила себе идеал княжеский в лице вежливого и грамотного Добрыни Никитича».³⁸

³⁵ А. Д. Григорьев, т. III, стр. 488.

³⁶ ПСРЛ, т. XXII, ч. 1. СПб., 1911, стр. 396; ср. также: ПСРЛ, т. X. СПб., 1885, стр. 71—72.

³⁷ ПСРЛ, т. X, стр. 92.

³⁸ Ф. И. Буслаев. Народная поэзия. Исторические очерки. СПб., 1887, стр. 170—171

Несколько по-иному ставит вопрос Л. Н. Майков. По-видимому, он допускал существование двух летописных Добрыней, каждый из которых отразился в эпосе. Добрыня Рязанич, упоминаемый в летописях в связи с событиями XIII в., «соответствует Добрыне из былины Кирши Данилова... где он является сыном богатого гостя рязанского Никиты».³⁹

В том же духе примерно высказывался О. Ф. Миллер.⁴⁰ М. Е. Халанский считает, что в былинном Добрыне Никитиче соединены два образа: киевского Добрыни и какого-то севернорусского, местного, рязанского богатыря, может быть Тимони. «Произошла взаимная ассимиляция эпических сказаний: рязанский храбор привлёкся к Владимиру и породнился с ним; киевский сподвижник Владимира получил местную, рязанскую окраску».⁴¹

Развивая эти соображения Халанского, В. Ф. Миллер высказывает предположение, что «в Рязанских местах ходило предание о каком-нибудь местном герое Тимоне (т. е., вероятно, Тимофее), чем-нибудь отличившемся в военной истории этого края, может быть в стычках с татарами... Этого героя могли сравнивать со старым Добрыней, может быть прозвали его Добрыней, и таким путем народный психико-былинный Добрыня был прикреплен к Рязани... Но это происхождение относится уже к Московскому периоду, когда в эпический оборот вошло имя популярного боярина Никиты Романова, царского шурина».⁴²

В другом месте В. Ф. Миллер пишет, что Добрыня «прочно пристал к рязанским сказаниям уже очень давно». Он приводит сообщение Олгария, который видел неподалеку от Рязани на Оке «Добрынин остров». «Можно предполагать, что остров получил свое имя в связи с какими-нибудь сказаниями о рязанском богатыре, носившем это имя».⁴³

Для объяснения прозвища «Золотой Пояс» представляет интерес сведение о «золотых поясах», приводимое А. И. Никитским: «... знатнейшие русские купцы в немецких известиях являются под названием „золотых поясов“».⁴⁴

Встает вопрос — не отразилось ли в прозвище Добрыни Рязанича воспоминание о его происхождении, сохраненное в былинах, где Добрыня — сын богатого рязанского гостя.

Факты говорят о том, что уже по крайней мере в XIII в. Рязань воспевалась в былинах как эпический город, место рождения и подвигов одного из самых популярных русских богатырей. Добрыня Рязанич, Евпатий Коловрат, Авдотья Рязаночка, князь-патриоты Федор, Олег и, может быть, некоторые другие были теми героями — частью историческими, частью вымышленными, — которых прославили местные рязанские песни и предания. Идейно-художественное содержание этих песен и преданий выходило далеко за пределы местных интересов, в них отразились процессы, характерные в целом для русского народного творчества эпохи борьбы Руси с иноземным нашествием.

³⁹ Л. Майков. О былинах Владимирова цикла. СПб., 1863, стр. 25, примечание.

⁴⁰ О. Ф. Миллер. Илья Муромец и богатырство киевское. СПб., 1869, стр. 416—417.

⁴¹ М. Е. Халанский, стр. 42.

⁴² В. Ф. Миллер. Очерки русской народной словесности, т. III. Былины и исторические песни. М.—Л., 1924, стр. 78—79.

⁴³ Всеволод Миллер. Очерки русской народной словесности, [т. 1], стр. 95—96.

⁴⁴ Д. С. Лихачев. Летописные известия об Александре Поповиче. — ТОДРЛ, т. VII. М.—Л., 1949, стр. 26, примечание.